

насыщенный ими, Толстой тряхнулъ своей великой стариной, и поздней ночью приснились великой старой головѣ не доводы, мысли, идеи, которыхъ, какъ и всякия мысли, могутъ быть спорны и неустойчивы, а неоспоримые живые образы, дѣла и разговоры людей. Теоріи онъ создавалъ на яву, а то, „что онъ видѣлъ во снѣ“, въ драгоцѣнныхъ тайникахъ безсознательности, — это было художество. Нельзя, къ счастью, сопротивляться стихійной силѣ таланта; Прометеева огня, своей геніальности, нельзя потушить. Можетъ быть самоубійство человѣка, но не самоубійство художника. Толстой угрюмо отворачивался отъ себя, какъ отъ писателя-беллетриста; проповѣдя непротивленіе злу, онъ зато противился добру, — добру своего дара, и, однако, впадал въ благодатное противорѣчіе съ собою, онъ опять и опять невольно предавался своимъ вѣщимъ выдумкамъ — этой болѣшой правдѣ, чѣмъ иная быль. Знаменательно и отрадно, что учительствующій старецъ все-таки снова пишетъ о любви и цыганкахъ, о тонкой дѣвушкѣ на балу, съ ея „маленьками, бѣлыми, атласными ножками“, о красотѣ и танцахъ, и страсти, и снова передъ нимъ изъ темной дали годовъ, изъ глубины и складокъ ничего не забывающей души, выступаютъ, казалось бы, давно похороненные и отринутые образы и темы. Опять слышатся теперь уже суровому, древнему слуху, давнишніе, но еще не отзучавшіе мотивы — всѣ эти „Шэль мэ верста“, „Не вечерняя“ и „Часъ роко-